



Людмила Улицкая Священный мусор

ПОДНИМАЯСЬ
ПО ЛЕСТНИЦЕ
ЯКОВА

ЦЕ
РЕДАКЦИЯ
ЕВГЕНИИ ШУВАКОВОЙ

Людмила Евгеньевна Улицкая

Священный мусор. Поднимаясь по лестнице Якова (сборник)

текст предоставлен правообладателем

http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=4405245

Людмила Улицкая. Священный мусор: поднимаясь по лестнице Якова:

Астрель; Москва; 2016

ISBN 978-5-17-096071-2

Аннотация

Книга автобиографической прозы и эссеистики писалась-собиралась Людмилой Улицкой в общей сложности более двадцати лет, параллельно с «Сонечкой», «Казусом Кукоцкого», «Даниэлем Штайном...», «Зеленым шатром». Тем интереснее увидеть, как из «мусора жизни» выплавляется литература и как он становится для автора «священным», и уже невозможно выбросить ничего – ни осколки и черепки прошлого, ни мысли, опыт, знания, догадки, приобретения, утраты...

Эта книга – бесстрашная в своей откровенности и доверительности. Улицкая впервые пускает в свой мир читателя, вступает с ним в диалог не только посредством художественных образов, а прямо и доверчиво – глаза в глаза.

В книгу вошли новые тексты о романе «Лестница Якова».

Содержание

Священный мусор	5
Разговоры под диктофон	8
Правила жизни Людмилы Улицкой	10
Личный мир	13
Детство	13
Девочки и мальчики	13
Старые фотографии	17
Чтение	25
Конец младенчества	25
«Мои отношения с книгами строились по принципу любовного романа...»	28
Читая «Дар» Владимира Набокова	32
Одиссей	44
Человек со связями	48
Конец ознакомительного фрагмента.	59

Людмила Улицкая
Священный мусор:
поднимаясь по
лестнице Якова

[рассказы, эссе, интервью]

Книга публикуется по соглашению с литературным агентством ELKOST Intl.

© Улицкая Л. Е., 2016

© ООО «Издательство АСТ», 2016

Священный мусор

Сильнейшая привязанность к вещам – к их биографии, географии, рождению и смерти – привела к тому, что в скороходовскую коробку из-под ботинок я складывала то, с чем трудно было расстаться: треснувшую фарфоровую пиалу моего прадеда, в которой он хранил какие-то колесики и пружинки от часов, разбитый китайский набор для чаепития, который мой первый муж случайно смахнул плечом вместе с полкой, бабушкины лайковые перчатки (бальные!) такого размера, что они порвались, когда их хотела примерить одна толстенькая двенадцатилетняя девочка, расплетшаяся наполовину прабабушкина корзиночка неизвестно для чего, горделивый значок Калужской гимназии госпожи Саловой и кусок клеенки из роддома, на котором написано имя моего двоюродного брата, родившегося через десять лет после меня. Всё это я собиралась когда-нибудь починить, реставрировать, склеить, залатать или просто определить на место. И лет тридцать таскала с квартиры на квартиру, пока во время одного из последних переездов, охваченная жаждой освобождения и очищения от всякого хлама, не выбросила все эти никчемные драгоценности на помойку. На минуту мне показалось, что я освободилась от своего прошлого, и оно больше не держит меня за глотку. Ничего подобного: все эти выброшенные штучки – наперечет! – я помню.

Однако эти черепки и остатки прошлого каким-то образом связаны с вещами нематериальными. Они символизировали прекрасные принципы и положительные установки, заимствованные идеи и остроумные концепции, которые я всю жизнь собирала в стройное здание, и иногда даже казалось, что оно уже прочно стоит на надежном основании и что многолетними усилиями выстроено цельное мировоззрение. Каркас этот оказался жестким и неудобным, как доспех средневекового рыцаря... Временами меня это очень беспокоило – благодарение Богу, ежеминутные заботы жизни сильно отвлекали от назойливого поиска высших смыслов. Не могу сказать, чтобы результат был сколько-нибудь значительным. Я очень близка к тому, чтобы выбросить все лабораторные тетради неудавшихся или плохо удавшихся опытов. К сожалению, обувная коробка – скорее модель, а может, метафора, описывающая универсальный процесс накопления богатства и последующего от него освобождения.

Оказалось, ничего выбросить невозможно. Цепкое сознание не хочет расставаться с побрякушками из стекла, металла, опыта и мыслей, знания и догадок. Что здесь важно и значительно, а что побочный продукт жизнедеятельности – не знаю. Тем более что иногда «Навозна куча» оказывается драгоценнее «Жемчужного зерна».

Мой покойный прадед, кой-какой часовщик и пожизненный читатель единственной книги, уважал материальный мир не менее духовного: никогда не выбрасывал ни картон-

ки, ни железки, с улицы приносил то кривой гвоздь, то ржавую петлю. Всё раскладывал по коробочкам, подписывал: гвозди дюймовые, петля дверная, шпулька для ниток. А на одной коробочке уже после его смерти разобрали надпись: «Веребочка, которая уже ни на что не годится»... Но почему хранил? Ведь так хочется освободиться от всего лишнего, необязательного...

«Вот потеряю руки, ноги, голову и возраст, дату рождения и дату смерти, национальность и образование, вот потеряю имя и фамилию, и будет хорошо». Это я сама написала на последней странице сборника «Люди нашего царя».

Разговоры под диктофон

Хорошее интервью – взаимное удовольствие и для интервьюера, и для интервьюируемого. За последние двадцать лет я дала очень много интервью, думаю, сто или двести. Изредка бывали хорошие, интересные разговоры.

Вот уже много лет, как я избегаю встречаться с журналистами лично, предпочитаю давать ответы по электронной почте. За те слова, которые я пишу ночью, без спешки, я отвечаю. А за ответы, переписанные с диктофона, – не всегда. Что-то происходит в процессе переноса с моего запинающегося голоса на бумагу, что меняет порой смысл до противоположного. Не говоря уж о том, что иногда приходят за интервью журналисты, которые и диктофон дома забыли, и прочитать книги, о которых собираются разговаривать, не успели. Это полное падение профессии журналиста. К сожалению, утрата профессионализма сегодня стала общей болезнью, и касается это не только журналистов, но и врачей, учителей, сантехников. Тем приятнее бывает беседа с журналистами талантливыми и профессиональными. Они, конечно, в меньшинстве.

Разговоры идут о разных вещах: о жизни, об обществе, о тех изменениях, которые происходят с людьми. Довольно часто речь идет о книгах, которые я написала. Иллюзий у меня давно уже нет: книга как важнейший культурный феномен

уходит из оборота, ее заменяют иные, новые формы культуры, которых прежде человечество не знало. Книги превращаются постепенно во вселенский мусор. Это очень хорошо знал Рэй Брэдбери. С горечью он писал о планете, где вся материальная культура сохранена, только нет людей, которые ее создали и могли бы пользоваться. Тогда, в отсутствие потребителя, вся культура превращается в мусор. И музыки не может быть, если нет ушей, которые ее слушают, и рук, которые играют, и живописи – без человеческих глаз. Великий закон возрастания простого к сложному, называемый то Творением, то Эволюцией, создал культуру как высший плод человеческого сознания. В нее все мы погружены, как рыбы в воду... Без этого и говорить не о чем.

Интервью – жанр опасный, потому что автор оказывается в большой зависимости от задающего вопросы. Захочет журналист – и автор выглядит идиотом, а может исхитриться и нарисовать из авторских высказываний фигуру весьма возвышенную. В этом особое мастерство журналиста – вытащить из контекста фразочку и создать собственный образ. Ниже приведен текст, своего рода журналистский шедевр: журналист из журнала *Esquire* ухитрился так подобрать цитаты из многочисленных интервью, что очень польстил автору. Выгляжу прямо-таки мудрой. С помощью этого же приема можно сделать и нечто совершенно противоположное – выставить автора полным идиотом. Бывало и такое.

Правила жизни Людмилы Улицкой

Когда очищаешь письменный стол от кучи исписанной бумаги, у книги начинается своя собственная жизнь. Я всего несколько недель тому назад рассталась с новым романом, и мне до смерти интересно, что будет дальше.

Когда я стала издавать книгу за книгой, я испытывала страх самозванства. Кто это меня назначил писателем? Я стеснялась самого слова «писатель». Но с годами привыкла. Да, писатель.

Разговаривать можно со всякими людьми, в том числе и с теми, которые не читали книг.

Есть одно качество у времени: оно ускоряется с годами. В детстве каждый год тянется бесконечно, тебе бесконечно долго шесть лет и никак не исполняется семи, когда будет другая жизнь, школа... А чем ближе к старости, тем быстрее осыпаются листочки календаря. Моргнул – понедельник, еще моргнул – опять декабрь...

Я биолог. Вид крови повергает в шок, когда ты не знаешь, что с этим делать. А когда ты понимаешь, что надо наложить жгут и остановить кровотечение, то шок проходит. Делаешь,

что надо.

Грязи я не боюсь, не брезглива и, если надо, могу вымыть сортир. Это благородная работа – из грязного делать чистое.

Я видела столько прекрасных смертей, когда люди уходили благородно, красиво, «безболезненно, непостыдно, мирно», что с годами гораздо больше боюсь своего плохого поведения, чем смерти. Наверное, это и есть гордыня.

Надо решить для себя вопросы: кто я? Чего хочу? Нужна ли мне свобода? Готов ли я к ответственности? Могу ли я испытывать сострадание? Есть множество людей, которые совершенно созрели для того, чтобы задать себе эти вопросы, но никто не сказал им, что такие вопросы задавать нужно, а сами они не догадались.

«Невылупившиеся» бывают необыкновенно привлекательны. Помните Петю Ростова накануне его смерти? Ешьте, ешьте изюм, у меня еще восемь фунтов... Простите за неточность цитаты. Петя взрослым стать не успел.

Личинка человека обладает всеми правами, которыми обладает взрослый человек. Она не обладает обязанностями.

Были времена, когда я Москву любила. Но давно уже не

люблю. Привыкла, отчасти смирилась. Есть немало мест, жить в которых мне нравится больше, чем в Москве. Мне нравится Нью-Йорк и деревня Эйн Карем в Израиле, мне хорошо в Берлине и в итальянской деревне Беука под Генуей. Но пока не получается от Москвы оторваться.

Коммунистическая идеология в нашей стране рухнула. Строить плохонький, как всё отечественное, капитализм после всех провалов западного – задача малопривлекательная. Никаких новых идей нет.

Если честно, мне Страшный суд не кажется самой удачной из христианских идей. Похоже, его придумали из педагогических соображений разочарованные в человеке отцы церкви.

С такого большого расстояния, как от Бога до человека, разница между грешниками и праведниками не так уж велика. Если мне, обыкновенной пожилой женщине, так жалко людей, то у высшей силы, полагаю, должно быть побольше сострадания. Уж очень несчастные мы создания – злые, жалкие, глупые. Как нас не пожалеть? Животные взгляните насколько лучше!

Составил Валерий Панюшкин. Журнал Esquire, март 2011

Личный мир

Детство

Девочки и мальчики

*Жизнь посвящает очень немногих в то, что она
делает с ними.*

Борис Пастернак

Друг мой, давно ушедший, мужественный и легкомысленный солдат последней большой войны, знаток поэзии и поэт, школьный учитель, для всех старший и каждому равный, лагерник, любимец женщин и собак, обнаружил, кажется, первым, что в классической русской литературе все книги о детстве – мальчиковые. О детстве девичьем – почти ничего нет: девочки в локонах и в панталонах играют на клавикордах весь XIX век. А Наташа Ростова еще и пляшет.

О детстве девочки впервые, пожалуй, написала не женщина, а двадцатисемилетний Борис Пастернак. Это повесть «Детство Люверс» – детство девочки Жени Люверс. Проговорил как мог «историю ее первой девичьей зрелости». Язык молодого Пастернака, спущенный с цепи, раскатывающий-

ся как гром, отдающийся эхом, торопится – бегом, лётом, кувырком – сбросить с себя чинность XIX века, расширяться до возможного предела, наполнить собой мир, пересоздать его... но не может произнести, никогда не сможет произнести слова «месячные», «менструация». Даже латинское *mensis* – и то непроизносимо! Только ввысь и никогда вниз!

Категорическое отсутствие женского опыта восполняется поэтическими прозрениями. Но прозрения эти – общечеловеческого характера:

Так начинают. Года в два
От мамки рвутся в тьму мелодий,
Щебечут, свищут, – а слова
Являются о третьем годе...

Что знаю я о детстве девочки? Много больше, чем Пастернак. И много меньше. Девочкой я была, но поэтом – никогда.

«В это утро она (Женя) вышла из младенчества, в котором находилась еще ночью...»

Ночной вид заречного берега вывел девочку из младенчества. Всё шатко и недостоверно, недоказуемо и гениально. Это пробуждение «я», которым все так дорожат. Где оно начинается? Где заканчивается? Не окажется ли это драгоценное «я» обидной иллюзией, самым горьким разочарованием?

«Я» – отчасти – обозначается границами нашего персонального опыта. Оно отделяется от «не-я», как твердь от

неба. Космогония личности.

У меня очень ранняя память. К примеру, я помню, как, едва научившись ходить, стою, прислонившись спиной к кушетке, а наискосок от меня страшно притягательная кафельная печь-голландка, и я собираюсь с силами и, выставив вперед ладони, бегу к печке. Утыкаюсь в нее ладонями – она страшно горячая!

Так включилось чувство «горячего». Это образуется одна из внешних оград «я». Человек проживает формирование этой границы между «я» и «не-я». Тепло собственного живота и холод замерзших ног – одно, тепло печи, обжегшей ладони, и холод льда, приложенного к разбитому носу, – другое. Границы уточняются, иногда болезненно.

Вторая сохранившаяся картинка: я иду по домотканой дорожке, ведущей наискосок к четвероногой этажерке. Передо мною катится мяч. Я его догоняю. Он страшно далеко, этажерка сужается кверху... иду долго-долго. Детское замедленное время? Детская устрашающая перспектива?

Вода нагревается в цилиндрическом котле, топят дровами. Ванна на львиных лапах. Раковина в хризантемах и в трещинах. В раковине вода холодная, в ванне – очень горячая.

Сын Петя интересовался водой, он спросил: «А где у воды середина?» И еще: «У холодной воды голос мужской, а у теплой – женский»...

Потом появляется «мое» и «чужое». Мама, естественное дело, – мое. Кроватка, чашка, игрушка, брат, ботиночки.

Мотив собственности. Мальчик научается защищать «свое» от посягательств кулаками, девочка – скорее воплями.

Различаются ли мальчики и девочки в самом раннем возрасте? Про девочек я знаю все-таки меньше, чем про мальчиков. После меня в нашей семье родилось одиннадцать мальчиков, и только через шестьдесят пять лет явилась девочка, моя внучка Марьяна.

Как бывшая девочка, я хорошо помню свои ранние годы. Опытные педиатры говорят, что мальчики сильнее реагируют на изменения погоды, а девочки – на температуру в помещении, где они находятся. Охотники и хранительницы очага? Так, что ли? Не уверена. В ранние годы, как мне кажется, индивидуальные различия между людьми гораздо сильнее, чем те, которые определяются полом. Почему я так думаю? Потому что в самом раннем возрасте пол еще не нужен, и совсем юное существо свободно от его неукоснительных законов. Как и в старости, после выполнения программы продолжения рода, когда пол уже не нужен. Человек, исходя из этого, наиболее полно выражает свое человеческое содержание в раннем детстве и в поздней старости. Отсюда и рождается глубокая смысловая рифма – стар и млад. Близко к области границы.

Какая старая песня! Мальчик с деревянным ружьишком, девочка с папье-машовой куклой! Еще пылятся на полках магазинов автоматы с крутилкой-трещоткой, и «деньрожденная» кукла пылится из коробки, а дети (девочки-маль-

чики, без разбору) лупоглазят в экран телевизора или в экранчик телефона, и пальчики (мелкая моторика!) стучат со страшной скоростью, выбивая звуки, которые в прошлом столетии вообще не существовали.

Старомодные родители еще пытаются нацепить на косичку розовый бантик, надеть на отрока приличную белую рубашку, а они уже на дискотеке, побритые наголо девочки и распустившие дреды мальчики, с нарисованными на предплечье или на ягодице дракончиками, слушают и сочиняют музыку, которой раньше и в природе не было.

Мальчик, дорогой мой! Девочка моя! Подождите! Не уходите! Я еще не успела прочитать вам про Серую Шейку, и про Каштанку, про Петю Гринёва и Машу Миронову! Но они уже унеслись, и я даже не вполне уверена, кто из них мальчик, кто девочка! Да и нужна ли им Каштанка?

Старые фотографии

В биологическом отношении было бы гораздо точнее, если бы родословные велись по материнской линии. Строго говоря, доля материнская – чуть больше половины! (Почему больше половины? За счет тех генов, которые располагаются в митохондриях – органеллах в цитоплазме яйцеклетки. Это еще в конце прошлого века обнаружили генетики.) Но тем не менее большинство традиционных культур ведет родословие по отцу, исходя из шаткого допущения, что женщины всегда

верны своим мужьям.

В области генетики наблюдается огромный прорыв: существует уже наука, называемая молекулярная генеалогия. Мешок унылых банальностей, известный у нас как Экклезиаст (в иудейской традиции это книга Кохэлэт, приписываемая царю Соломону), сообщает человечеству: «Кто умножает познания, умножает скорбь». Никак не могу с этим согласиться: познания, умножившиеся в области антропологии (генетики в частности), восхищают и придают бодрости, в то время как Экклезиаст нагоняет тоску.

Я не собираюсь воспользоваться услугами уже существующей лаборатории, которая сегодня дает на основании безмерно расширившихся знаний о структуре генов ошеломляющие сведения о родословных.

Мне достаточно того немногого, что я знаю о своих предках (не дальше пятого колена!).

Вот часть семейной истории по отцовской линии. Существует два фотодокумента, висящие у меня в спальне. Одну из фотографий подарила мне к шестидесятилетию моя троюродная сестра Оля Булгакова. Фотография отпечатана со стеклянной пластинки, целая коллекция которых хранится у нее дома. На ней запечатлен наш общий прадед часовщик Гальперин. Он вальяжно сидит в кресле, в своей киевской мастерской, году в 1903-м. Лицо профессора или сенатора. По облику – интеллигент. На второй фотографии – та же мастерская в 1905 году, после погрома. Разбитая мебель, пе-

ревернутые столы, разорванные книги. Книги принадлежали Михаилу, старшему брату моей бабушки. Он тогда учился в Киевском университете на филологическом отделении. Когда писатель Короленко узнал, что у еврейского студента во время погрома были уничтожены книги, он подарил ему двести книг из собственной библиотеки. Эти книги послужили основой книжного собрания Михаила. Библиотека была столь хороша, что в какие-то давние годы даже была на охране государства. С детства я помню золотые и кожаные корешки в его квартире в Москве, в Воротниковском переулке, – там по сей день живет его внучка Оля Булгакова с мужем Сашей Ситниковым, дочкой Наташей и внучкой Алисой. Все, кроме годовалой Алисы, художники.

Бабушка Мария Петровна, дочь этого часовщика, вышла замуж за моего деда Якова Улицкого. От союза Марии Петровны и Якова Улицкого родился в 1916 году мой отец Евгений. Сведения о дедушке Якове до прошлого года были скромны и обрывчаты: бабушка развелась с ним заочным судом в 1936 году, когда он отбывал очередное заключение. Мой отец почти не упоминал его имени. В прошлом году я открыла переписку бабушки и дедушки, начатую в 1911 году и закончившуюся письмом деда от 1954 года, после освобождения из последнего заключения. Эта переписка – печальная история времени, когда одни сидели, другие сторожили, а третьи, расположившиеся между ними, жили в отчаянном и унижительном страхе перед звонком, стуком, хлопком лиф-

та – словом, перед системой, построенной «великим гением всего человечества». Дед, судя по переписке, великолепен: умен, талантлив, музыкален, с достоинством вынес все испытания.

От деда Якова – две фотографии: на одной, 1911 года, он юноша в мундире вольноопределяющегося, на второй – старик, вернувшийся из ссылки в 1954 году. Тогда ему оставалось чуть больше года жизни. Много и других семейных фотографий, оставшихся от отца: дореволюционные, не теперешние лица, то на пикнике, то под низко висящей над столом керосиновой лампой, братья бабушки и дедушки, их друзья – разночинцы, студенты с революционными взглядами и пышными шевелюрами, идеалисты и романтики. Ох, как их потом жизнь покрошила! Имен почти нет, мало что подписано. Большая часть фотографий – киевские. Большая часть этих людей и их детей там и остались навеки – в Бабьем Яру.

По материнской линии – Гинзбурги. Самая старая семейная фотография Гинзбургов сделана в конце XIX века, когда фотография была редкой новинкой. На ней изображен старый еврей в ермолке. Это отценазначник наш, Исаак Гинзбург, мой прапрадед. Кем был его отец – это уже растворилось. Про Исаака известно следующее: он был кантонист, отслужил двадцать пять лет в русской армии солдатом, дослужился до унтер-офицера. Ермолка на голове, как я предполагаю, свидетельствует о том, что его, как и всех инород-

цев, крестили в школе кантонистов, и, отслужив свой срок, он вернулся к вере предков. Известно про него достоверно, что он участвовал во взятии Плевны армией Скобелева и получил солдатского Георгия. Этот крест лежал в бабушкином рукодельном ящике вместе с нитками и иголками. Я им играла и, кажется, заиграла во дворе. Прапрадед Исаак, отслужив срок, получил привилегии: он имел право жить вне черты оседлости. Он жил в Смоленске. Там он и женился. И родилось у него несметное количество детей, большую часть которых потерял в их младенчестве. Смертность детская в России в те времена была очень высокая. Один из его выживших сыновей стал часовщиком. Мой прадед Хаим. Его фотография тоже имеется. Так и висят рядом фотографии двух моих прадедов-часовщиков, Гальперина и Гинзбурга. Потомки киевского часовщика вырвались из провинциальной среды: бабушка в молодые годы была актрисой, ее брат – литератором. Кажется, теперь такой профессии уж нет?

Бабушка Мария Петровна смотрела на семейство Гинзбургов свысока: бездуховные мещане! Они на нее – с легким удивлением, но тоже неодобрительно: богема! Во время войны мой дед Гинзбург (сын часовщика и почти юрист – не закончил университет по причине случившейся революции, работал коммерческим директором то в артели, то на фабричке захудалой) с Каляевской улицы привозил сватье, моей бабушке Марии Петровне, на Поварскую, временно улицу Воровского, пшено для поддержания тела. Она пшено брала,

но уважать не уважала: шахер-махер! У нее были духовные интересы. А у него – нет. И срок свой отсидел он не по безнадёжной политической статье, а по экономической.

Дед Гинзбург в начале 1941 года освободился, вернулся с Дальнего Востока и устроился на работу в строительной конторе в Москве. По случайному совпадению, дед Улицкий освободился приблизительно в то же время, и для него следующие семь лет были самыми плодотворными годами жизни: он занимался российской демографией, написал книгу, защитил диссертацию. В 1948-м его посадили снова, за связь с мировым сионизмом в лице Михоэлса, для которого он писал какие-то рефераты. Излишки образования изымались из общества таким же образом, как в предшествующие годы – излишки продовольствия. С кем дед Улицкий прожил эти счастливые семь лет между посадками, я не знала до недавнего времени. Сейчас знаю.

Семья Гинзбургов – кроме деда, который работал в Москве на каком-то подземном строительстве, опять-таки по части снабжения, – была в эвакуации в Башкирии. Дед слал семье посылки.

Из довоенной переписки деда Улицкого я узнала, что по крайней мере до 1936 года, когда бабушка с ним развелась, он из алтайской ссылки слал продовольственные посылки жене и сыну в Москву. Он тогда работал на трех работах: тапером в кинотеатре, преподавателем иностранных языков и бухгалтером на маслозаводе в Бийске.

Я родилась в Башкирии, в деревне Давлеканово. Бабушка Елена Гинзбург завела козу, соседка-татарка научила доить. Соседка доила козу легко и ловко, а бабушке казалось, что она причиняет козе боль. В эвакуацию бабушка взяла с собой швейную машинку – кабинетный «Зингер» до сих пор стоит у меня. Тогда бабушка обшивала всю деревню – этим подкармливались. В избе жила хозяйка, бабушка, мама, мамин младший брат Виктор, тетя Соня. Моя бабушка Елена и Соня любили друг друга как сестры, но были не сестры, а тетка с племянницей. Правда, племянница была старше тетки на два года... Такое бывает в патриархальных семьях, когда дочери начинают рожать в те годы, когда мать еще плодоносит... И замужем они были за двумя братьями, Борисом и Юлием Гинзбургами: когда старший сидел, младший помогал его семье; когда младший ушел на фронт, старший взял на себя заботу о его жене. Сын Сони ушел в первые дни войны добровольцем, и муж, дедов брат Юлий, тоже был на фронте. Он был уже не молод, работал санитаром в передвижном госпитале. А еще в Давлеканове жил мой прадед со своей Торой.

Семья вернулась в Москву в конце 1943 года. С тех пор я здесь живу. А мои Гинзбурги – все до единого на Немецком кладбище. Улицких тоже уже нет. Либо вымерли, либо фамилию переменили. В нашей семье я последняя. Идеологический внутрисемейный конфликт между мещанскими муравьями, пекущимися исключительно о хлебе насущном, и

богемными стрекозами с высшими интересами, закончился. Кажется, всех примирила я, очень рассудительная богема.

Мои сыновья носят фамилию отца, как это теперь принято. Мои двоюродные братья все взяли русские фамилии матерей, как тогда было принято. Все мужчины в семье женились на русских женщинах. Я, таким образом, последняя еврейка в ассимилированной семье. Конфликт национальный тоже, кажется, заканчивается на мне.

Чтение

Конец младенчества

Чтение – взрыв. Мир расширяется, распирается новым знанием. Оно в книжном шкафу в коридоре, в квартире моих предков по материнской линии, Гинз бургов. «Я» – отчасти – складывается из суммы прочитанных книг.

Синий Лермонтов и белый Пушкин, а Шекспир оранжевый, и «Дон Кихот» в бумажной суперобложке поверх академической строгости, и журнал «Задумчивое слово», и теперь мне кажется, что все книги моего детства я произвожу из этого шкафа. Потом в моей жизни было много и других шкафов, откуда книги брала. Особенно благодарна Анатолию Васильевичу Ведерникову, его библиотека в Плотниковом переулке работала долгие годы как публичная.

Маленькая разрозненная библиотека, принадлежавшая второй бабушке, Марии Петровне, умещалась на скромной этажерке. Таких книг нельзя было взять в библиотеке: несколько томов Зигмунда Фрейда (она произносила «Фройд», конечно же!), «Котик Летаев» Андрея Белого, стихи Мандельштама, Ахматовой, Цветаевой, замечательные книги философов Льва Шестова и Михаила Гершензона, «Образы Италии» Муратова. Да! Ее любимый Гамсун! Тако-

во было чтение подростковых лет. На той же этажерке стояли две книги, принадлежавшие деду Якову: «Материализм и эмпириокритицизм» товарища Ленина, весь исчерканный карандашными пометками «Ха-ха! Он не понимает Маркса! NB! Безграмотность!», и вторая – «Восстание ангелов» Анатоля Франса, в самодельном переплете и с надписью на последней странице: «Этот переплет я сделал из папки и старых носков в самые тяжелые дни моего пребывания в камере № 7 на Лубянке». Дата – 1948 год, декабрь. Читал Анатоля Франса и преподавал французский язык – это мне рассказал его сокамерник того времени священник Илья Шмаин. В общей сложности этот дед отсидел тринадцать лет.

Дед учил бабушку читать. Множество писем из ссылки посвящено текущему чтению. Из писем деда (в ответ на возмущенное письмо жены о романе «Как закалялась сталь» Островского):

«Н. Островский есть чудо воли, самоотверженности, скажем так: гений преодоления невзгод. И это лучшее, что есть в книге. И только этим книга берет читателя... Но нельзя же не видеть, что литературно она рыхла, ученически слаба, что стиль – смесь безвкусыя и некультурности. У него есть проблески литературного таланта, некоторые эпизоды сильно, хорошо написаны, но это не его заслуга, а просто жизнь, богатая эпизодами. Ему многому нужно учиться... А самое сильное в книге – это автобиография. Второй, выдуманный роман будет слабее. Да откуда хорошо писать человеку, кот.

не имел времени учиться? Когда такой же начинающий человек, булочник Горький, стал писать, то он уже успел перевернуть в себя целую библиотеку. Он уже был в состоянии книжного запоя. Писателя формируют либо жизнь+книги, либо только книги, но никогда только жизнь без книг. Из последних – чудачки, которые, может быть, украшают жизнь, но не литературу».

О книгах, о чтении – половина их переписки.

Прадеда с материнской стороны, старого Гинзбурга, рождения 1861 года, я помню с книгой в руках. Это была единственная, всегда одна и та же книга – Тора. Сидел со своим раком желудка и с книгой в руках; запах кожаного переплета и ветхой бумаги – один из самых волнующих. Много лет спустя, начав читать Библию, я испытала смутное чувство, что всё это мне знакомо – эти истории мне прадед рассказывал. Ничего с этим не поделаешь: евреи – народ Книги. Если не пишут, то по крайней мере читают.

Пока прадед читал Главную Книгу, я читала без разбору всё, что находила в шкафу. Воспитанием моим никто особо не занимался, так что главным моим воспитателем могу считать книжный шкаф.

Когда я подросла, я поняла, что существует целая армия людей, которые укрываются от действительности именно в чтении. Миф о том, что Россия – самая читающая страна в мире, стоял, как я теперь думаю, именно на этих людях. И литература, способная заменить собой жизнь, пронизанную

фальшью, жестокостью и убогой идеологией, существовала: великая русская литература.

Чтение, как и секс в его наиболее распространенном виде, требует двух партнеров – автора и читателя. Эти партнеры совершенно необходимы друг другу. Каждый раз, когда мы берем в руки книгу, мы готовим себя к новым сладостным, а порой и тяжелым переживаниям, а когда их не находим, то с разочарованием откладываем в сторону том. Читая, мы растем, дорастая постепенно до всего лучшего, что можно выразить с помощью алфавита.

«Мои отношения с книгами строились по принципу любовного романа...»

(из интервью)

Вы выросли в Москве. Скажите, какие впечатления и увлечения детства повлияли на то, что и как Вы пишете?

Знаете, я всегда была читающей девочкой. Когда чтение – основное детское занятие, многие другие впечатления и ощущения гаснут. Поэтому не так существенно, где именно я выросла – в Москве или в другом городе.

С книжками же получилось интересно. Мы жили в квартире в некотором смысле коммунальной: там жили две родственные семьи. Мой дед и его брат почти всю свою жизнь прожили в одной квартире. В коридоре стоял шкаф, полный

старыми книгами. Среди них – русская классика, почти полная «Золотая библиотека», дореволюционная библиотечка для детей, с одной стороны, совершенно второсортная, с другой – сильно отличающаяся от того, что доставалось советскому ребенку в пятидесятых годах. Мое первое чтение, таким образом, оказалось очень нетривиальным по тому времени. «Взрослая» библиотека в доме была очень хаотическая, со многими пробелами, и мои привязанности диктовались до некоторой степени книжной наличностью. Скажем, я очень рано прочитала Сервантеса – едва научившись читать, и целый год мусолила. Вообще же мои отношения с книгами всегда строились по принципу любовного романа: я открывала для себя какого-то писателя, как правило самостоятельно, потому что моим чтением и воспитанием особенно не руководили. Родители были научные сотрудники и занимались диссертациями. Поэтому имел место прекрасный самотек. Первый автор, который произвел на меня неизгладимое впечатление – полтора года читала и до сих пор, кажется, помню наизусть, – был О’Генри. Его рассказы были любимейшей моей книгой классе в четвертом-пятом. Я его читала каждый божий день, ничто другое меня не интересовало. Потом я его отложила в сторону лет на шестьдесят. В прошлом году решила открыть – и это было не разочарование, а возвращение в детство. Читала его уже взрослыми глазами и оценила по-прежнему очень высоко. Следующее открытие, почти впритык, – совершенно неизвестный писа-

тель, найденный на задах книжной полки у моей школьной подруги Лары Крайман. Серо-бежевая обложка, «Борис Пастернак» – росчерком, в правом верхнем углу черным оттиснут портрет, внизу пропечатано «ОГИЗ ГИХЛ 1934». В книге раздел – «Сестра моя жизнь». Я была потрясена, и Пастернак меня надолго занял. С тех пор у меня осталось ощущение, что Пастернак – лично мною открытый поэт. Мне было очень приятно, когда лет тридцать спустя мне эту книжку подарил один друг, привез ее из Вильнюса, – именно ту, с размазанным портретом, 1934 года издания. Следом пошла книжка «Детство Люверс», которая была очень трудна для тринадцатилетней девочки, но тем не менее осталась... Еще одна книжка с задов той же библиотеки – «Декамерон», припрятанный, как и Пастернак, от детей.

Следующее большое открытие произошло уже в университетские годы. С нами учился канадец русского происхождения, его потом выслали за шпионскую деятельность... Через него ко мне попала книга совершенно неизвестного писателя Владимира Набокова – «Приглашение на казнь». Я испытала ощущение встречи с абсолютно новым миром. Я не знала, что такое бывает. Так произошло первое соприкосновение с современной литературой. В эти же годы вернулся забытый на десятилетия Андрей Платонов.

Эти два автора открылись мне почти одновременно. Платонов и Набоков – писатели совершенно разного толка, знака, наполнения, и оба гении. Один вернулся к читателям по-

сле многих лет гонений. Другой свалился на нас из эмигрантского небытия. Даже удивительно, что такие мои серьезные «открытия» были сделаны самостоятельно и в общем литературно «невинным» человеком... В течение очень многих лет я Набокова боготворила, но с годами это закончилось. Хотя время от времени радости с Набоковым происходят: например, прочитанная поздно «Камера обскура» вызвала радость и восторг – читательский и человеческий.

Эта тема чрезвычайно важная: чем отличается талантливый писатель от гениального. В те же годы я для себя это определила таким образом: гениальный писатель расширяет человеческий мир. Нечто, бывшее в языке невыразимым, гений переводит в область выразимого – и человеческое сознание расширяется, пройденное гением расстояние становится доступным для людей посредственных. Так было с Набоковым. Безусловно, такие вещи существуют и по сей день, хотя сегодня люди очень целенаправленно занимаются «озвучиванием» невыразимых вещей. В пятидесятые годы XX века такой задачи, как мне кажется, не стояло. Может, я ошибаюсь...

Надо сказать, радость чтения от меня сейчас в большой степени ушла. Может, возрастное отупение, а может, просто не попадаете то, что может произвести новый переворот. Во всяком случае, в детстве чтение было очень существенно...

Я – 1943 года рождения, то есть в год смерти Сталина мне было десять лет. Мама работала биохимиком в медицинском

учреждении – ее тогда выгнали с работы. Тень, нависшая над семьей, чувство опасности, которое постоянно передавалось через взрослых, – всё это тоже имело значение. Первые мои рассказы, написанные довольно поздно, поскольку прозу я начала писать поздно, в большой степени связаны с детством, с потребностью вернуться туда, прожить и заново расставить точки... Это было чрезвычайно для меня полезно. Я человек, у которого страхов в жизни делается всё меньше и меньше. Я и по натуре не очень боязлива, и есть у меня сознательное отношение к страхам как к вещам, которые должны преодолеваться, изживаться... Поэтому второе, умозрительное «проживание» детства имело, наверное, для меня еще и терапевтическое значение. Меня туда и по сей день очень часто «приглашают» – заглянуть, что-то найти...

Беседовал Альберт Розенфельд.
Журнал «Медведь», январь 2012

Читая «Дар» Владимира Набокова

Скорость ошеломляющая, ускорение, предполагающее существование иной физики мира, кроме той, что освоена к началу XXI века. С вызывающей головокружение и тошноту, глазом не измеряемой быстротой расширяются границы мира, границы сознания.

Куда девалось медлительное созревание жизни – долго со-

бирающийся дождь, нескончаемое взбивание земляничного мусса полной женской рукой с ямкой на локте, распухшие вот уж две недели желёзки?

Кончилось неторопливое русское время. Приглашенная к действию нажатием кнопки дождевальная машина молниеносно освежит асфальт, блендер взобьет в тридцать секунд лучшего качества искусственный белок, сахарозаменитель и земляничный порошок в бескалорийный коктейль, а распухшие желёзки утихомятся с одного укола антибиотика...

Все человеческие проблемы – смотри по списку, от «родился» до «умер» – решаются эффективнее бизнес-администраторами, чем сомнительными высшими силами – парками, мойрами, Ангелами высшего звена, даже самой Девой, к которой массово прибегают за разрешением технических вопросов, не имеющих к ней никакого отношения.

В XX веке сделано научных открытий в тысячи раз больше, чем в предшествующем, XIX. Количество информации, которым обогатилось человечество, уже не умещается даже в самой гениальной голове.

Да бог с ней, с информацией! А что происходит с языком? Вопль компьютерного воляпюка – «Букаффмнога!»

Язык созидает мир, язык его описывает. Мы знаем то, что можем выразить с помощью языка. Остальное – ценное, но – увы! – животное мычание.

Пространство выразимого и выражаемого языком огромно. Но не бесконечно. Языки как явления – или как суще-

ства? — переживали лучшие и худшие времена: расцветали, увядали, иногда и умирали, как латынь и древнегреческий.

В русской литературе в прошлом веке произошло чудо, именуемое «Владимир Набоков». Писатель-эмигрант, юношей покинувший Россию, единолично совершил такой прорыв в русском языке, который до него оказался посилен разве что Пушкину. Русская литература дала немало гениев, каждого со своим особым поворотом и мысли, и слова, но Набоков, созидая, вне всякого сомнения, новую русскую литературу, совершил прорыв, русского читателя отчасти шокирующий: своим почти алхимическим искусством освободил отечественную словесность от присущего ей привкуса больной религиозности, беспочвенного мессианства, социального беспокойства с оттенком истерии, чувства вечной вины, совмещенного с учительством, и создал почти кристаллическую, незамутненную «высшую» литературу с нерусской степенью отстранения автора от своего текста. Прокламируемая любовь к русскому народу его не занимает. Но кто лучше его возвращает русское слово до абсолютного звона, хрустальной чистоты, невиданного слияния смысла и звука?

Что есть основное качество литературного гения? Способность раздвинуть пространство выразимого словом: до Набокова целый круг явлений, ощущений, деталей не был проговорен. Набоков нашел такие новые сочетания старых слов, что мир раздвинулся. Это имеет отношение не только

к самому языку, но и к людям, к их осознанию себя и окружающего мира.

Среди многих способов познания мира – чувственного, интеллектуального, научного, художественного – есть и языковой. Как бы ни убежало вперед человечество от своих архаических, мифологических корней, магическая формула «вначале было Слово» продолжает работать. Самое поразительное, что Слово и по сей день вибрирует, расширяется, трепещет, рождается и умирает на глазах и время от времени представляет совершенно новые свои воплощения.

Роман Владимира Набокова «Дар» прикасается к одной из самых древних, гомеровских тем – изгнанничество и возвращение домой. Милая Итака, к которой стремится Одиссей, рифмуется с милой Россией, о которой тоскуют герои Набокова. Одиссей не был изгнанником, хотя уже в те, древнейшие времена человечество придумало это наказание для преступников – изгнание. Оно заменило единственную известную в древности кару – смертную казнь.

В XX веке изгнанничество стало уделом миллионов людей, не только русских, но китайцев, тибетцев, евреев, немцев, татар... Изгнанник Набоков не вернулся на родину, да и не мог бы вернуться: родина, которую он воспевал, исчезла с лица земли. Но вся она, ушедшая в небытие дореволюционная Россия, вместилась в его душу. Он воскрешает в памяти исчезнувшую страну, счастливейшее детство мальчика, одаренного любовью родителей и многими талантами, данны-

ми ему от природы. Лишь одна муза отвернулась от него: он был лишен музыкального слуха. И хотя уши его были глухи к музыке, она звучала в его утонченной изумительной прозе. Тонкая усмешка жизни: Набоков считал себя поэтом, настаивал на этом – но стихи его были банальны и посредственны. Зато какими богатыми музыкальными оттенками переливается его симфоническая проза, в которой слышны все голоса мира: дождя и света, деревьев, такс и стрекоз... В одной капле набоковской прозы – высочайшая концентрация нежности, любви, тоски. Эта соль жизни, ее кровь и дыхание.

Но вернемся к теме изгнанничества. Мировая критика первенство в разработке этой темы в XX веке отдала другому автору, весьма почитаемому Владимиром Набоковым, – Джеймсу Джойсу с его романом «Улисс». Набоков тщательно исследовал этот роман.

Среди разнообразных критических работ мне не удалось найти ни одной, которая бы сопоставила два выдающихся романа – «Улисс» Джойса и «Дар» Набокова. Некоторый внутренний параллелизм этих романов не лежит на поверхности. Еще одна существенная вещь – биографии двух великих писателей, они и есть то подводное течение, которое мысли и чувства авторов поднимает из тьмы нечленораздельного в реальность литературы.

Действие романа «Улисс» разворачивается 16 июня 1904 года, в день, когда Джеймс Джойс познакомился со своей будущей женой Норой Барнакль. В том же году он объявил, что

отправляется в изгнание. И совершил свой исход из Ирландии, которая его никуда, в сущности, не выгоняла, поскольку не замечала.

Действие романа «Дар» Набокова происходит в Берлине, в 1923 году, когда изгнанник (семья Набокова эмигрировала из страны, которая в те годы отчаянно и кроваво расправлялась с аристократами, помещиками и просто с богатыми людьми вне зависимости от их происхождения) знакомится со своей будущей женой Верой Слоним.

Эмиграция Набоковых была нешуточная: от почти неминуемой гибели молодой Набоков уезжает из России сначала в Англию, потом в Германию, из Германии во Францию, а из Франции – от реальной опасности уничтожения в оккупированной фашистами Европе – в Соединенные Штаты.

Таким образом, изгнанничество Джойса – совершенно игрушечное в сравнении с реальной опасностью для жизни, которой подвергались Набоков и его семья. Конечно, Джойса долгое время не печатали в Ирландии, но спустя восемь лет после его добровольного изгнанничества он возвращается на родину к выходу его книги «Дублинцы». Возвращение было неудачным: гранки книги были уничтожены, и он вернулся беспрепятственно в Европу.

Возвращение героя на родину описано Набоковым много раз в рассказах и романах. Оно смертельно опасно. Это сон, кошмар, наваждение и одновременно – самая заветная и неисполнимая мечта.

Бывают ночи: только лягу,
в Россию поплывет кровать;
и вот ведут меня к оврагу,
ведут к оврагу убивать...

Прошу прощения, я, кажется, несколько выше отозвалась неодобрительно о стихах Набокова. Беру свои слова обратно.

Вот то качество великой русской литературы, о котором труднее всего говорить: она вся написана всерьез. Даже у такого игрового по своей природе человека, как Набоков, она черпает свой материал из смертельных глубин. Тем и велика.

Работа Набокова со словом далеко вышла за границы художественной игры. Именно роман «Дар» предъявил миру, по крайней мере русскоязычному, поразительное расширение возможностей языка. Да и не только в самом языке дело: с древнейших времен человек осознает свою связь с природным миром, временами ощущая себя частью природы, временами об этом забывая. Научная эйфория XIX века привела к иллюзии, что мир вот-вот подчинится созидательной воле человека, и человек начнет новую эру правления материей. Научное и художественное познание мира находились в известном противоречии.

Владимир Набоков, ученый и писатель, оказался «двукрылым» существом: он в полной мере владел обоими инструментами, и в этом была его эта уникальная особенность. Он изучал природу бескорыстно и любовно, со всей возмож-

ной в его профессии точностью, и эту точность ученого внес в литературу. В сущности, в этом и была ошеломляющая новация писателя Набокова. Может, стоит вспомнить здесь о Гёте как о предшественнике.

Научный и художественный взгляд на мир совместились, и возникла новая оптика.

Долгие годы Владимир Набоков занимался одной из самых непрактичных областей лепидоптерологии – редкими бабочками, которые не способны изменять экологию. Никаких сельскохозяйственных, фармакологических или иных практических открытий Набоков не сделал. Как и его отец, естествоиспытатель и общественный деятель, он относился с отвращением к прикладной энтомологии, презирая «поход на саранчу или классовую борьбу с огородным вредительством», за что и прослыл снобом. Набоков нашел, описал, зарисовал двадцать видов бабочек, создал изумительные коллекции из тысяч экземпляров.

Какое всё это имеет отношение к роману «Дар»? Самое непосредственное и одновременно самое таинственное. В 1938 году издательство «Петрополис» собиралось выпустить особое издание романа «Дар», в котором, по плану Набокова, должны были быть два приложения: первое представляло собой рассказ «Круг» и эссе героя «Дара» Федора Годунова-Чердынцева о научных трудах его отца. Второе приложение называлось «Отцовские бабочки», замечательно интересное исследование философии естествознания, которое

и по сегодня поражает оригинальностью, резкостью, нетривиальностью мысли. И полнейшей поныне невостребованностью.

Это замечательное эссе Набокова и есть авторское самописание, откуда видно, как сосуществуют художественный и научный взгляды на мир. Набоков вспоминает, как в детстве мать принесла ему, выздоравливающему после одной из длинных детских болезней, только что вышедший первый том «Чешуекрылые Российской Империи»: «Драгоценность темно-синей книги, бешено и бережно извлеченной из картона, определялась для меня откровением красоты и поэзией познания» (выделено мною. – Л. У.).

Эта безупречная формулировка сути набоковского открытия много лет спустя, в одном из последних интервью, была подтверждена: «Природа, наука и искусство сливаются воедино», – говорил Набоков интервьюеру. И добавлял: «Но искусство – первично».

Последний, неоконченный роман, который Набоков просил уничтожить, вышел в свет вопреки воле автора, а вот это задуманное Набоковым важнейшее издание «Дара» с дополнениями – до сих пор не вышло. Его время еще не пришло.

Роман «Дар» – при всем огромном резонансе, который он вызвал, – недооценен еще в одном отношении: этот русский роман написан человеком, который говорит о себе: «Моя голова говорит по-английски, мое сердце – по-русски, а ухо предпочитает французский». Подобно тому как в Набокове

соединился гений ученого с гением художника, он явил собой, возможно, прообраз будущего человека, несущего в себе метафизику не одного, а трех языков, которыми владел в совершенстве. В романе «Дар» это в полной мере заявлено, а в последующих романах – развито и расширено.

У Набокова не было последователей и учеников, хотя было множество малоудачных подражателей. Именно по той причине, что автор «Дара» обладал столь уникальным двойным зрением – ученого и художника. Возможно, единственный из живущих ныне писателей, который идет по этому пути, – Умберто Эко, в каких-то иных пропорциях несущий дарования ученого и художника.

Владимир Владимирович Набоков, аристократ и спортсмен, принимал с величайшим достоинством и юмором все вызовы жизни: целый хор раздраженных современников, эмигрантов всех волн и изгнанников всех политических режимов, укорял его в высокомерии, снобизме, холодности и других грехах. Скорее всего, эти разнообразные претензии имеют одно основание: масштаб личности человека, оскорбляющий обывателей, и масштаб дарования писателя, оскорбляющий посредственность.

Набоков чувствовал как никто остроумие жизни, маленькие шутки вещей, все гримасы самоуверенной глупости и провалы патентованной мудрости. Жизнь неоднократно забавлялась и с ним, любимцем и баловнем.

Два года тому назад я оказалась в Монтрё. Последний

приют четы Набоковых оказался точно таким, каким я его себе представляла. Швейцарская роскошь без воображения, солидная, но немного потрепанная. За 450 евро можно было переночевать в номере, когда-то занимаемом Набоковыми. Впрочем, хозяева эту квартирку на верхнем этаже давно перестроили и сделали из нее несколько. Внизу, на лужайке между гостиницей и озером, был устроен сад скульптуры – джазовые музыканты в бронзе дудели в свои дудки и наяривали на гитарах, оскорбляя бронзовые уши сидящего в бронзовом кресле господина Набокова в костюме-тройке, изваянного рукодельником из России.

Набоков, сочинитель множества литературных шарад и ребусов, гроссмейстер розыгрыша и гений совпадения, улыбается сейчас с берегов Леты – которая в его случае называется, наверное, именем северной речки Оредеж, – этой простенькой, но остроумной шутке провидения, заставившего его сидеть в одном вольере с джазом, который вызывал у него при жизни скуку, непонимание и раздражение.

А чего стоит пожизненная вражда Набокова с «венским шаманом»? Сколько сарказма, убийственного пренебрежения и насмешек досталось отцу и основателю психоанализа от остроумного писателя! Другой на месте Зигмунда Фрейда застрелился бы! Но смиренный Фрейд и не пытался оправдываться: скорее всего, он даже и не узнал имени своего оскорбителя. Прошли годы, и многочисленные последователи психоаналитика изучили романы и рассказы Набоко-

ва и обнаружили там множество хрестоматийных примеров эффективного использования фрейдовских идей. Страшная месть оказалось смешной: история Гумберта Гумберта с его детской любовью может быть описана в учебнике по психоанализу!

Еще одна маленькая деталь из того же ряда: в 1972 году Владимир Набоков был рекомендован к номинации на Нобелевскую премию. Нобелевским лауреатом, написавшим это письмо, был русский писатель Александр Солженицын. Вот уж поистине: «...стихи и проза, лед и пламень».

Всё, что презирал один – патриотизм, православие и народность в их несложном виде, – аккумулировал второй. Нобелевский лауреат даже написал Набокову покровительственно-укоризненное письмо, в котором, отдавая должное автору, слегка отчитывал его, что «великий талант Вы не поставили на служение нашей горькой несчастной судьбе, нашей затемненной и исковерканной истории».

Думаю, что Набоков, обучавшийся грамоте на лучшей и первой в мире английской детской литературе, переведший на русский язык «Алису в Стране чудес» Льюиса Кэрролла (не самым удачным образом, откровенно говоря), радуется всем этим прелестным и лукавым улыбочкам, которые развешены в пространстве, принадлежащем великому, но не «нобелированному» русскому писателю. Впрочем, Льва Толстого тоже не удостоили.

Одиссей

Хотя царство Одиссея было размером с деревню, царское достоинство его не вызывает сомнения. При такой-то родословной! По отцовской стороне – всё прилично, но ничего выдающегося: Лаэрт, отец Одиссея, был сыном царя соседнего с Итакой острова. В греческом архипелаге островов несколько тысяч, так что и царей – соответственное количество. Не редкость. К тому же ходят слухи, что Антиклея, мать Одиссея, путалась до брака с Сизифом, так что доподлинно не известно, кто его отец. Зато по материнской линии – просто шикарно! Родной дед Одиссея, отец Антиклеи, – вор и клятвопреступник Автолик, а он – известно кто: сын Гермеса! Вот такова родословная нашего героя, и она объясняет все прекрасные и отталкивающие черты Одиссея. Еще совсем немного, десять – двадцать лет, и генетики раскопают косточки, проанализируют ДНК и подтвердят фантастическую гипотезу о внеземном происхождении человечества. Есть такая изысканная идея, что древние боги на самом деле не боги, а жители иных вселенных, которые дали свой геном для скрещивания с теми человекообразными существами, которые обитали на земле и которых за людей считать было нельзя, и мы с вами – и с Гомером – являемся их гибридными потомками!

Гомер обожает Одиссея, красок не жалеет, чтобы опи-

сать его достоинства: умен, хитер, ловок, «славен копьем» и «быстр разумом». Вслед за Гомером Одиссея полюбило и всё человечество: он и герой – множество подвигов; и путешественник – сколько островов, сколько стран, даже до иного мира добрался; и беспроегрышный обольститель! Однако если со стороны нравственности и морали взглянуть на Одиссея – место его в тюрьме! Вор, как и дедушка, мошенник, соблазнитель юных дев и пожилых волшебниц...

Я и сама была в него в детстве влюблена. Он ведь и был родоначальником суперменов, до которых падки все неразумные девы, пока не входят в возраст и не начинают соображать, что слабее и тщеславнее супермена нет на свете существа. И тогда исследователь (или исследовательница) ставит главный вопрос: в чем же притягательность этого сомнительного героя? Он реализует собственную жизнь как дорогу. И его биография становится метафорой: жизнь, проведенная в борьбе с богами, в преодолении препятствий, жизнь, в которой подчинение судьбе гармонично сочетается с борьбой.

Расшифровывая события бурной жизни Одиссея, мы сопоставляем их с теми испытаниями и искушениями, которые встречаются и нас на нашей скромной дороге. Одиссей – не столько путешественник, сколько скиталец. Но своим талантом и умом он умеет претворять преследующие его неудачи в приключения. Удивительный взгляд на вещи! Все мужчины немного завидуют Одиссею, все женщины немного в него влюблены. Хотя есть и такие, кто влюблен сильно. Первая

среди обожающих женщин – жена Пенелопа. Это ее он выбрал в жены, проявив свой хваленый ум и предвидение. Он толкся в толпе почитателей прекрасной Елены, когда она еще ходила в невестах, а женился на ее двоюродной сестре, которая вовсе не стояла в первом ряду невест на той ярмарке. И как он был прав! Достойное поведение – лучшее украшение женщины; это и до сих пор так. Он выбрал счастливый билет, женившись на Пенелопе. А она? Сколько ей было лет, когда Одиссей вынужден был, собрав двенадцать кораблей, отбыть на войну в Трою? Девочка лет четырнадцати (несдобровать бы всем прежним героям в наше время), родившая своего первенца. Одиссею не хотелось на войну, он даже попытался отмотаться от армии, прикинувшись сумасшедшим. Но был разоблачен. И отправлен на войну. А вернулся тридцать лет спустя к раздобревшей за рукодельем матроне, увядшей на ложе, лишенном супружеских радостей, и к тому же униженной непристойной собачьей свадьбой, происходившей в ее доме, – претендовали женихи скорее на ее имущество, царское достоинство и маленький, но собственный остров, чем на пожилые прелести! Одиссей к этому времени тоже был потрепан жизнью. Да к тому же высокая покровительница, Афина Паллада, состарила его своим волшебством, так что выглядел он уже не на пятьдесят пять, а на все восемьдесят.

Самый трогательный эпизод всех его приключений – старая слепая кормилица, которая ходила за Одиссеем в дет-

стве, узнает его в обличии нищего странника, прикоснувшись к шраму на ноге. Сын не узнал, жена не узнала, а старуха-служанка узнала. И Одиссей, никем не узнанный, расшвыривает наглецов и открывается в своем царском величии.

Гомер, конечно, знал тайну повествования длиной в жизнь. А именно: где поставить точку. Но тайну эту он никому не открыл. И точку не поставил. Впрочем, нельзя исключить, что о расплывчатости финала позаботились сотни последующих поколений, которые оставляли на повествовании свои отпечатки. Таким образом, великая поэма превратилась в сакральный текст: он двоится, таит в себе бездны, темноты и петли. Но есть важный вопрос: а чем там дело кончилось с Одиссеем? Я люблю канонический финал: на Итаку приплывает сын Одиссея Телегон, прижитый от волшебницы Кирки. Он встречает отца на берегу, не узнает его. Обнажают мечи – и сын убивает отца. Так работает прославленный греческий рок, по распоряжению которого сын норовит уничтожить своего отца, используя разные стратегии – от кастрации и поедания до случайного убийства.

Существует и более мягкая версия, которая мне представляется более поздней – на ней уже лежит печать библейского примирения человека и бога: принявший свою судьбу старый герой доживает свои дни в Этолии и умирает, насыщенный днями. Герой, хитрый, умный и ловкий, умирает не от меча, а от старости.

Этот финал говорит о конце гомеровской эпохи, наступают новые времена: человек примиряется с богом.

Человек со связями

Эту тему сначала надо почуять, как охотник чует свою добычу. Потом, определив место, где добыча может скрываться, обозначить границы, в которых пойдет охота... и огрести участок флажками, чтобы добыча не ускользнула.

Возможно, что добычей окажется метафора. Грандиозная метафора в стиле Джонатана Свифта: гигантский спящий Гулливер, привязанный тысячами нитей к платформе, которая движется неизвестно куда. Вот об этих нитях тянет подумать и поговорить. Кстати, они в родстве с теми, которые ткнут мифологические сестры, устраивая узоры из рождений, смертей и иных пересечений судеб.

Общая ткань бесконечна: одни нити прерываются, вплетаются другие, но в их подвижном континууме каждая нить неведомым образом связана с остальными. Устройство этого многоцветного ковра таково, что каждую его точку можно рассматривать отдельно, и движение ее определяется всеми прочими, и каждая точка обладает полнотой собственного бытия – или по крайней мере дает такую иллюзию внимательному наблюдателю, который, временно отрываясь от себя самого, пытается разглядеть картину с высоты птичьего, скажем, полета.

Что же это за нити? Что за связи? Заранее можно сказать, что отчетливого, однозначно удовлетворительного ответа не будет. Нам дана лишь возможность восхищаться, изумляться, ужасаться и радоваться, когда удастся проследить хоть какие-то фрагменты этой подвижной ткани.

Приближение первое: человек как явление природы. Единственное, кажется, существо, способное осознавать свою принадлежность природе и изучать себя самого в разных обстоятельствах. Одновременно объект изучения и инструмент, это изучение производящий, – именно в этом уникальность человека в доступном наблюдению мироздании. Производное земли, человек связан не только с землей, но и с небом разнообразными нитями. Для многих живущих на земле небо – место пребывания Высшей Силы, для других – астрологическая карта с фигурами зодиака и иными созвездиями, определяющими индивидуальные судьбы людей, третьих интересует влажность, направление ветра и содержание озона в двадцати километрах над поверхностью собственной шляпы, четвертые, задрав голову, смотрят в синеву и ловят кайф от ее воображаемого покоя.

То же и с землей: ее обожествляли, чтили мощную силу ее плодородия, вскапывали и поливали, ее терзали, любили, ненавидели, начиняли порохом и собственной кровью, зарывали в нее сокровища и прятали в ней следы преступлений. На ней рождались и в нее ложились, и она принимала в себя остатки мягких тканей и костей.

Из земли вырастают растения. И снова возникает целый веер отношений человека и зеленых детей земли – от обожествления до уничтожения... И какие тонкие связи здесь образовались: человек ухаживает за деревом, любит его, съедает его плод, сажает его семя в землю, сжигает древесину, обогревая свое временное тело... Практикующий цигун стоит в позе дерева и пребывает деревом, извлекая из этого состояния невысказуемое знание. Вырубающий лес прокладывает на его свежей могиле двенадцатиполосный хайвей. А зеленый лист продолжает делать то, что не умеет делать никто больше в этом мире, – преобразует солнечную энергию в живую органическую массу. Это и есть первичная божья глина. Без растений не могли бы существовать животные.

Биг бенг (Большой взрыв) или акт творения? Теория эволюции или теория катастроф? Копошится не видимая глазом инфузория-туфелька, активно схватывающая добычу временным ртом, но еще не разучившаяся освобождать кислород из углекислого газа с помощью хилого солнечного луча, пробившегося через поверхность мутной воды. Это хлипкий мостик, по которому карабкается эволюция. Следующая ступень – окаменевшая кость, пробитый череп обезьяночеловека, подлог мистификатора или ухмылка природы?

Ставши человеком, это существо не перестает быть животным. Какая сложная здесь система связей возникает: несомненное животное, и по сей день животное, по всем признакам совершеннейшее животное – активное движение,

активное питание, инстинкты, общие для рыбы, змеи, кролика и человека. Инстинкты питания, размножения, заботы о потомстве. Впрочем, последнее не у всех. Не всякая рыбка заботится о своих детях, некоторые лишь брызнут спермой в подходящих обстоятельствах. Но это и у людей бывает...

Какие связи, какая история и предыстория... Тотем и табу. Ты – от медведя, я – от марабу. А этот – от Маркса-Энгельса-Ленина-Сталина. Или от Чарльза Дарвина и Зигмунда Фрейда.

Не надо смеяться. Мы связаны с животными неразрывно и во веки веков. Они проживут без нас, а мы без них – нет. Они наша мясная пища, наши котлеты, колбасы и бульоны, крабовые салаты и рыбные супы... Но мы любим еще, когда кошка мурлычет и трется о колено, а собака кладет голову на другое колено и преданно смотрит в глаза... И не забудьте про вервольфа... и про черную пантеру древней Африки, вызванную шаманскими заклинаниями. И еще не забудьте того, чего не знаете, чему не находите объяснений: ритуал погребения у слонов, изгнание провинившегося муравья из стаи, взаимная нежность крокодилов, убийство сыновей от прежнего брака матерыми львами, смертельные бои оленей и смерть от неразделенной любви у совсем безмозглой канарейки...

Какие трогательные сказки рассказывает нам индуизм о путях перерождений! Не пей из лужи, братик, козленочком станешь, – говорит и русская сказка. А доктор Штайнер рас-

сказывал ученикам – и учил их наблюдать благодатное пламя ауры вокруг коровы, жующей свою жвачку: священный акт природы, процесс усвоения солнечной энергии, накопленной растениями, телом животного... Только ленивый не высмеивал антропософов. А ведь они увидели заново то, о чем забыла образованная Европа. Их взгляд – благоговение перед чудом жизни.

И конечно, нельзя упустить из виду магнетические связи человека с низшими природными силами: ведьмы в трагедии Шекспира «Макбет» призывают их заклинаниями и манипуляциями с останками животных и растений...

А способность человека вступать во взаимоотношения, перекидывать нить общения за пределы мира реальности? Речь здесь идет не только о ритуалах и мистериях, начиная хоть от Элевсинских, но и о сократовом «даймоне», и о беседах Божьей Матери с Серафимом Саровским. Хотите верить, хотите нет. Но иконы Благовещения сами по себе являют факт, присутствующий вне зависимости от того, верим ли мы в посещение архангелом Гавриилом юной дочери Иоакима и Анны. Я в той деревне была, видела церковь Благовещения, под ней, в археологическом раскопе, – миква. В двух шагах – арабская закусочная, мы там ели. Хозяйку зовут Мармат, у нее восемь детей, она приветлива и мила. Поговорили. Нас угостили кофе. Расцеловались. Разошлись в разные стороны. Навсегда. А узелок зачем-то завязался!

Одно только перечисление разнообразнейших связей, ко-

торами связано всё живущее, набрасывает эскиз картины огромной сложности и разнообразия. Но есть и специальные, исключительно межчеловеческие отношения, и первая важнейшая группа – вертикальное родство: у каждого есть родители и дети. Во всяком случае, отсутствие таковых является скорее исключением. Имеется также значительное количество кровных родственников с убывающей степенью родства. У каждого человека, кроме родственников кровных, есть еще большое количество свойственников. Свойство тоже в некотором отношении приравнивается к родству. Кроме того, есть отношения соседствующих людей, отношения профессиональные, партийные, разного рода социальные: «хозяин – работник», «врач – пациент», «учитель – ученик» и многое другое. Религиозная сфера дает еще один огромный спектр отношений – от запрета на трапезу с иноверцем до крестовых походов и погромов.

Есть еще область совсем уж таинственная – область сновидений и близких к ним явлений. Сны вещие, предсказывающие будущее. Сны-загадки, вызывающие беспокойство, и даже сны, несущие конкретную информацию. Великий химик Менделеев, открыватель и создатель знаменитой таблицы Менделеева, изменивший представление о химической природе вещества, утверждал, что таблица приснилась ему во сне. Связь с глубинами подсознания или с высотами иного мира?

Известна такая категория снов, которые прокладывают

связи между реальной жизнью и бытием иного рода, пространствами нематериального мира. Мы не знаем, откуда добывали свои сведения создатели сакральной литературы – от египетской, тибетской и других «Книг мертвых» до Майстера Экхарда и Блеза Паскаля... Но эти таинственные связи – вне зависимости от того, относимся мы к ним скептически или с почтением, – описаны в подробностях и деталях.

Всё вышеизложенное – длинное предисловие к короткому заявлению, что литература и есть художественное осмысление этих связей человека и мира. На рабочем уровне, так сказать. Именно этим делом занимается писатель, даже в тех случаях, когда делает вид, что собирается просто развлечь почтеннейшую публику.

Подобно мольеровскому Журдену, сделавшему открытие, что всю жизнь он говорит прозой, скромное открытие о кружевной природе человеческого бытия, о тайне, заключенной не только в узелках, но и в пробелах между ними, я сделала в студенческие годы. В то время я была студентом-генетиком и переживала великое открытие века, которое кое-как добралось до затравленной советской властью биологической науки. Я имею в виду двойную спираль ДНК Уотсона и Крика.

Эта модель, как тогда казалось, всё объясняла в наследственности, а заодно и кое-что в мироздании. Спираль раскручивалась, потом в раскрученном виде соединялась с другой, тоже располовиненной, аденин кидался в объятия к тимину, а гуанин к цитидину, и происходила комбинация на-

следственного материала, в результате чего возникала и я, и моя кошка. Но кроме этих двух нобелевских лауреатов был еще третий, ночной, встреча с которым меня потрясла никак не меньше. Это был Борис Пастернак, вернее, его роман «Доктор Живаго», уже известный по слухам, кем-то из особо приближенных к писателю уже прочитанный, уже скандальный, изданный в Италии на русском языке и ходивший по рукам. Этот роман, уже в первом к нему прикосновении, открыл для меня это кружево жизни. Впоследствии я много раз его перечитывала и находила в нем всё новые и новые драгоценности.

Одна из лучших сцен романа – и самых загадочных – смерть Юрия Андреевича Живаго. Он едет в трамвае, замечает из окна постоянно ломающегося вагона пожилую даму в лиловом, которая то обгоняет трамвай, то снова оказывается позади. Ему приходят на ум школьные задачки на «...исчисление срока и порядка пущенных в разные часы и идущих с разной скоростью поездов... Он подумал о нескольких развивающихся рядом существованиях, движущихся с разной скоростью одно возле другого, и о том, что когда чья-нибудь судьба обгоняет в жизни судьбу другого, и кто кого переживает. Нечто вроде принципа относительности на житейском ристалище представилось ему...»

Сердечный приступ начинается у героя, он задыхается в душном вагоне, пытается открыть накрепко закрытое окно. «Ощутил небывалую, непоправимую боль внутри...», рва-

нулся к выходу, выскочил из трамвая и упал мертвым. . . к ногам дамы в лиловом, мадемуазель Флери, с которой пути его мимолетно пересеклись на Урале, за двенадцать лет до этого дня. Она, не узнав в умершем доктора Живаго, прошла, помахивая свертком с документами в швейцарское посольство, где получила наконец долгожданное разрешение на возвращение домой.

Зачем нужна была автору эта встреча-невстреча? Юрий Живаго прекрасно бы умер, не попав на глаза пожилой швейцарке, когда-то с ним знакомой. Да и вообще: зачем, при всей многофигурности романа, при десятках значительных, интересных героев понадобился ему этот лиловый призрак, совершенно ничего не меняющий в ландшафте романа?

Можно строить различные объяснения этому столь значительному и бессмысленному эпизоду, но лично для меня он послужил отправной точкой для размышлений о соотношении жизни и литературы, о том, что именно производит литература с судьбой, когда рассматривает ее с художественно-философской стороны. Несомненно, литература выявляет и прочищает связи, завязанные внутри жизни, вычленяет наиболее важные, отсекает второстепенные, то есть производит отбор субъективный, авторский. Автор как бы предъявляет свою интерпретацию происходящего. И талант – убеждает. Меня в те мои молодые годы Пастернак убедил, что мир сплетён из тончайших нитей, что каждый из живущих обла-

дает тысячью валентностей, которые замыкаются на окружающем мире и между собой. Прочитанная книга аккумулирует такие связи: все прочитавшие ее особым образом связаны между собой отношениями к героям книги, размышлениями о судьбах и обстоятельствах их жизни. Такими же аккумуляторами связей оказываются и великие музыкальные произведения, и картины, и скульптуры. Однако язык литературы здесь – самый внятный.

Конечно же, я была идеальной слушательницей-читательницей Бориса Пастернака. Даже мое первое знакомство с ним было очень знаменательным и забавным. В тринадцатилетнем возрасте в книжном шкафу моей подруги позади всех книг я нашла две, спрятанные от детей. Одна из них была «Декамерон» Боккаччо, и мы ее внимательно исследовали. А вторая – сборник Бориса Пастернака. Я его открыла и захлебнулась. «Сестра моя жизнь» просто обожгла. К тому времени мне были известны имена Ахматовой, Северянина, Цветаевой, даже Анненского я знала, а Пастернака – нет. И он стал моим собственным, личным открытием. И до сих пор я иногда начинаю скучать по его музыке, открываю его томик. Через его стихи я поняла, что поэзия концентрирует все связи, рождает новые ассоциации, тренирует глаз, слух, сознание, переносит из повседневной жизни в мир возможного, но малодоступного.

Немного позже я обнаружила в том же шкафу «Детство Люверс» и очень над этим детством страдала: волнение, го-

речь непонимания. Именно тогда, уже при чтении стихотворений Пастернака, открылась мне тайна рифмы – не звуковой, а многофункциональной. «И воздух синь, как узелок с бельем у выписавшегося из больницы...» – синева весеннего неба так осязаемо переглядывалась с синими кальсонами в узелке, синим трико, машущим пустыми ногами с веревки, натянутой посреди двора, – навстречу небу...

Именно Пастернак снял с моих глаз пленку, и я стала видеть благодаря ему то, о чем прежде и не догадывалась: о связи всего со всем, о невысказуемой красоте этой связи. Я увидела, что мир наполнен сюжетами, как хороший гранат зернышками. И каждое зерно связано с соседним. Но метафора с нитями – убедительней. Просто касаешься любой близлежащей нити, и она ведет тебя в глубину узора, через напряжение страсти, боли, страдания, любви.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.